

НА ДИАМЕТРЕ ВЕКОВОГО КРУГА: СОЛЖЕНИЦЫН vs ГОРЬКИЙ

М. М. ГОЛУБКОВ¹⁾

¹⁾Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова,
Ленинские горы, 1, 119991, г. Москва, Россия

Сопоставляется творческий опыт двух великих писателей XX в.: Горького и Солженицына. Показано, что, несмотря на противоположные политические и философские взгляды двух художников, принципиально различные писательские репутации, их объединяют и схожие черты: масштаб творческого наследия, общие аспекты проблематики, одни и те же эпохи русской жизни, к которым авторы обращались. Писателей сближает еще и то, что их подлинный облик заслонен многочисленными мифами. Сопоставляются гражданские позиции Солженицына и Горького, анализируются их отношения с политической властью. Рассматривается проблематика их творчества, проводится анализ созданных ими типов национальной жизни, принадлежащих одному историческому периоду: последней трети XIX – первой трети XX в. Однако главное внимание уделяется представлениям о революции как форме преобразования социальной жизни. Исследуется необычная точка схождения между двумя художниками: интерпретация образов провокаторов как неизбежной зловредной издержки революционной работы. Для Горького провокатор и провокация – вещи алогичные и необъяснимые с точки зрения настоящего революционера. Для Солженицына они естественны и закономерны. Таким образом, Солженицын опровергает социальные иллюзии Горького. Показывается, что главным корнем разногласий двух художников становятся принципиально разные философские воззрения: Горький является убежденным революционером, Солженицын трактует революцию как преступное покушение на органические основы жизни.

Ключевые слова: Горький; Солженицын; провокатор и провокация; гуманизм Горького; ГУЛАГ; Гапон; Боров; Столыпин; мифологизация образа писателя; писательская репутация; творческое поведение.

НА ДЫЯМЕТРЫ ВЕКАВОГА КРУГА: САЛЖАНИЦЫН vs ГОРКІ

М. М. ГАЛУБКОЎ^{1*)}

^{1*)}Маскоўскі дзяржаўны ўніверсітэт імя М. В. Ламаносава,
Ленінскія горы, 1, 119991, г. Масква, Расія

Супастаўляецца творчы вопыт двух вялікіх пісьменнікаў XX ст.: Горкага і Салжаніцына. Паказана, што, нягледзячы на супрацьлеглыя палітычныя і філасофскія погляды двух мастакоў, прынцыпова розныя пісьменніцкія рэпутацыі, іх аб'ядноўваюць і падобныя рысы: маштаб творчай спадчыны, агульныя аспекты праблематыкі, адны і тыя ж эпохі рускага жыцця, да якіх звярталіся аўтары. Пісьменнікаў збліжае яшчэ і тое, што іх сапраўднае аблічча заслонена шматлікімі міфамі. Супастаўляюцца грамадзянскія пазіцыі Салжаніцына і Горкага, аналізуюцца іх адносіны з палітычнай уладай. Разглядаецца праблематыка іх творчасці, праводзіцца аналіз створаных імі тыпаў нацыянальнага жыцця, якія належаць да аднаго гістарычнага перыяду: апошняй трэці XIX – першай трэці XX ст. Аднак галоўная ўвага надаецца ўяўленню пра рэвалюцыю як форму пераўтварэння сацыяльнага жыцця. Даследуецца незвычайная кропка сыходжання паміж двума мастакамі: інтэрпрэтацыя вобразаў правакатараў як непазбежнага шкоднага наступства рэвалюцыйнай работы. Для Горкага правакатар і правакацыя – рэчы алагічныя і невытлумачальныя з пазіцый сапраўднага рэвалюцыянера. Для Салжаніцына яны

Образец цитирования:

Голубков ММ. На диаметре векового круга: Солженицын vs Горький. *Журнал Белорусского государственного университета. Филология*. 2019;1:17–24.

For citation:

Golubkov MM. On the age-old circle diameter: Solzhenitsyn vs Gorky. *Journal of the Belarusian State University. Philology*. 2019;1:17–24. Russian.

Автор:

Михаил Михайлович Голубков – доктор филологических наук, профессор; профессор кафедры истории новейшей русской литературы и современного литературного процесса филологического факультета.

Author:

Mikhail M. Golubkov, doctor of science (philology), full professor; professor at the department of modern Russian literature and modern literary process, faculty of philology.
m.golubkov@list.ru

натуральныя і заканамерныя. Такім чынам, Салжаніцын абвяргае сацыяльныя ілюзіі Горкага. Паказваецца, што галоўнай прычынай рознагалоссяў двух мастакоў становяцца прынцыпова розныя філасофскія погляды: Горкі з'яўляецца перакананым рэвалюцыянерам, Салжаніцын трактуе рэвалюцыю як злачынны замах на арганічныя асновы жыцця.

Ключавыя словы: Горкі; Салжаніцын; правакатар і правакацыя; гуманізм Горкага; ГУЛАГ; Гапон; Багроў; Сталын; міфалагізацыя вобраза пісьменніка; пісьменніцкая рэпутацыя; творчыя паводзіны.

ON THE AGE-OLD CIRCLE DIAMETER: SOLZHENITSYN vs GORKY

M. M. GOLUBKOV^a

^a*Lomonosov Moscow State University, 1 Leninskie Gory, Moscow 119991, Russia*

The article is devoted to the comparison of the creative experience of two great writers of the XX century: Gorky and Solzhenitsyn. Despite the opposite political and philosophical views of the two writers, similar features unite them: the scale of the creative heritage, the presence of epic, dramatic and lyrical works, realism, general aspects of the problems brought looked over. Despite their fundamentally different literary reputations, they are united by the fact that their true appearance is obscured by numerous myths. The article compares the civil positions of writers, analyses their relationship with political power. Much attention is paid to the problems of their creativity, analysis of the types of national life they created, belonging to one historical period: the life of the late XIX – early XX century. However, both writers pay the greatest attention to the interpretation revolution as a way to transform a social life. The article deals with an unusual point of convergence between the two artists: interpretation of images provocateurs as an inevitable evil costs revolutionary work. For Gorky provocateur and provocation is illogical and unexplained from the point of view of real revolutionary. For Solzhenitsyn is natural and logical. Thus, Solzhenitsyn refutes Gorky's social illusions. The article shows the fundamental difference of philosophical views of the two artists. Gorky is a staunch revolutionary; Solzhenitsyn treats revolution as a criminal attempt on the organic bases of life.

Key words: Gorky; Solzhenitsyn; provocateur and provocation; religious writer; Gorky's humanism; Gulag; Gapon; Bogrov; Stolypin; mythologization of the writer's image; writer's reputation; creative behavior.

Когда Максиму Горькому было 50 лет, на свет появился человек, который стал впоследствии ярким оппонентом «буревестника революции» и «первого пролетарского писателя». Это был Александр Солженицын. Когда Горький ушел из жизни, его будущему политическому и литературному антиподу не исполнилось еще и 18 лет, поэтому личная полемика никак не могла произойти. Ей предстояло быть полемикой заочной и перерасти в спор длиною в век.

Солженицын не был чужд мистике цифр. Начиная в романе «Август Четырнадцатого» свой очерк биографии провокатора Богрова, убийцы П. А. Столыпина, он обозначает дату его рождения, отталкиваясь от дня смерти А. С. Пушкина, гения русской культуры, основоположника новой русской литературы: «Он родился в день, когда умер Пушкин. День в день, но ровно через 50 лет, через пол-оборота века, на другом конце диаметра» [1, с. 112]. На другом конце векового диаметра от дня смерти гения русской культуры родится злодей и палач другого русского гения – государственного деятеля, способного вывести Россию на новые и неведанные до сей поры высоты, П. А. Столыпина.

Через 50 лет после рождения русского писателя мировой величины Максима Горького, через пол-оборота века, на другом конце столетнего диаметра, рождается великий русский писатель Александр Солженицын – как и Горький, художник мирового уровня, но во всем ему противоположный. Диаметрально противопоставленные точки векового круга, по мысли Солженицына, должны были предопределить их глубинную оппозиционность. Так, в сущности, и случилось. Однако 150-летие одного и 100-летие другого писателя понуждает не только констатировать их очевидную идеологическую и художественную антитетичность в русской литературе XX в., но и задуматься о неких точках схождения их идейно-эстетических концепций, пусть и отнюдь не очевидных. Иначе говоря, диаметр векового круга, о котором размышлял Солженицын, побуждает выявить содержание того диалога, в который неизбежно вступают друг с другом эти писатели в пространстве русской литературы XX в.

Солженицын и Горький – полюса. Они противоположны во всем – но и схожи. Удивительным образом совпадают повороты судеб, вехи общественного пути обоих писателей, те роли, которые они играли в отношениях с политической властью, заблуждения, иллюзии, которые они питали, прозрения, которые им открывались. Их сближает общественная позиция непримиримых критиков существующего политического режима: царского и ленинского – у Горького; советского – у Солженицына. В конечном

итоге оба они «бодались с дубом» и из этой борьбы вышли титанами – победителями. Горький участвовал в первой русской революции 1905–1907 гг., помогал революционерам деньгами, был вынужден скрываться в эмиграции после поражения революции; приветствовал свержение ненавистного ему царизма, т. е. в итоге победил «дуб», с которым «бодался». Правда, спустя всего несколько месяцев автор «Несвоевременных мыслей» вынужден был перед новым «дубом» отступить, не преодолев его, и в результате уехать во вторую эмиграцию в 1921 г. Солженицыну борьба с «дубом» стоила ареста и депортации, но «дуб» все же рухнул – в том числе и из-за усилий «теленка». Правда, вернувшись из изгнания, писатель создает книгу «Россия в обвале» (1998), своего рода аналог «Несвоевременных мыслей», написанных на 80 лет раньше, которая ставит Солженицына, как и «Несвоевременные мысли» Горького, в оппозицию к новой власти. Кульминацией этого противостояния становится отказ от ордена Святого апостола Андрея Первозванного: получать его из рук Ельцина писатель отказывается. Вернувшись на рубеже 1920–30-х гг. на родину, Горький пытается играть роль «умягчителя сердец и нравов» при Сталине, своеобразного просветителя, роль, подобную той, что играл Державин при дворе Екатерины II. В какой-то степени это ему удается: примеры заступничества Горького, когда его обращения и ходатайства удовлетворялись, общеизвестны, и список их выглядит весьма внушительно. Эту роль ему удавалось играть по крайней мере до декабря 1934 г., до убийства Кирова, которое усиливает недоверие и подозрительность Сталина, в том числе и по отношению к Горькому. Солженицын после ухода Ельцина видит в Путине политического лидера, способного вывести Россию из обвала, и его отношение к власти, как и у Горького, впоследствии меняется. Оба уходят из жизни не оппонентами власти, но, скорее, ее сторонниками и даже сподвижниками. Оба получают своеобразную посмертную канонизацию в качестве великих художников современности, что, собственно, вполне справедливо.

Но не только политическая позиция и отношения с властью формируют некие общие вехи общественных и личных судеб Солженицына и Горького. Не менее значим воистину грандиозный масштаб их творческого наследия. Оба создали грандиозные полотна русской жизни конца XIX – начала XX в., затронув важнейшие повороты национальной истории – точки бифуркации, как сказали бы мы сейчас. Это «Жизнь Матвея Кожемякина», «Дело Артамоновых», «Жизнь Клима Самгина» у Максима Горького; «Раковый корпус», «В круге первом», «Архипелаг ГУЛАГ» и, конечно же, «Красное Колесо» у Александра Солженицына.

Не менее важным оказывается и то, что оба писателя создали грандиозную характерологию русской жизни. Кажется, что все типы, сформированные кризисной эпохой первых трех десятилетий XX в., запечатлены Горьким. И нет, наверное, ни одного типа русской жизни первой половины XX в., который не был бы запечатлен Солженицыным. «Архипелаг ГУЛАГ» является «энциклопедией русской жизни» пореволюционного времени в ее лагерном варианте.

Разумеется, исторические события предреволюционного и революционного времени осмыслились ими принципиально по-разному. Горький, убежденный противник Романовых и их слуг, как он называл царское окружение, был сторонником революционного преобразования жизни. В Столыпине он видел палача, душителя свободы и революции, основным методом борьбы с которой стали «стольпинские галстуки», которые Клим Самгин воспринимает без возмущения, как некую обыденность: «...казни стали столь же привычны, как ничтожные события городской хроники» [2, с. 324]. Именно поэтому Клим Иванович не очень беспокоится, «ежедневно читая, как министр давит людей “пеньковыми галстуками”» [2, с. 323]. Солженицын в книге «Август Четырнадцатого» создал великолепный и уникальный в русской литературе портрет Столыпина, находя в нем единственный на тот момент оплот русской государственности и упрекая Николая II в личной и политической слабости, недалекости и податливости влияниям двора. Неспособность отстоять своего министра от интриг делает Николая II игрушкой в руках различных дворцовых партий, в результате чего Столыпин погибает, и это предвестие гибели государства, монархии, самого царя и его семьи. Пули провокатора Богрова – «первые пули из екатеринбургских» [1, с. 248].

Вполне естественно, что у писателей различна интерпретация образов революционеров. Для Горького это люди, бескорыстно стремящиеся переустроить мир на основах добра и справедливости, беззаветные работники революции, профессиональные революционеры, жертвенно приносящие свои судьбы и жизни на алтарь борьбы, ибо их дело правое, за ним будущее. Целая галерея таких образов создана Горьким – это и соратники Павла Власова (роман «Мать»), и Рашель (пьеса «Васса Железнова»), и Кутузов («Жизнь Клима Самгина»). Сюда же можно отнести целый цикл биографических очерков, посвященных профессиональным революционерам, с которыми Горький был знаком: «Калинин», «Камо», «Леонид Красин». Для Солженицына революционер – это человек, навязывающий свою волю истории, жестокий и в основе своей безнравственный, в ослеплении героизирующий убийц-террористов и готовый помогать им и следовать их путем, пребывающий в губительной иллюзии достижения

социальной гармонии через жесточайшее насилие террора, направленного как против конкретных личностей, так и против всего народа. Как героев воспринимают революционеров-бомбистов сестры Адалия и Агнесса Ленартовичи, представители революционной интеллигенции, готовые осмыслить как «венец русского террора» 1 марта и 1 сентября – даты гибели от рук террористов Александра II и П. А. Столыпина [1, с. 97]. Именно такую трактовку революционной деятельности они предлагают. Размышляя о настроениях студенчества после революции 1905 г., они сетуют: «Стало модно оплевывать благороднейшие революционные действия» [1, с. 69].

Таков Ленин, упоенный идеей превратить войну империалистическую в войну гражданскую. Именно поэтому не случайно, что оба писателя создали художественный образ Ленина – иконописный (по крайней мере, во второй редакции) у Горького и дьявольский, воистину сопоставимый с князем мира сего у Солженицына.

И вдруг неожиданное схождение: обоих авторов интересуют образы людей, которые являются как бы бракованными кадрами революции, ее неизбежным ядовитым осадком, без которого, наверное, невозможно революционное дело. Это провокаторы.

Провокатор – не просто предатель. Предать можно не из подлости, но из трусости, или же оказавшись под давлением непреодолимых, как может показаться человеку, обстоятельств. Подобное предательство описывает Солженицын в поздних рассказах «Эго» и «На краях». В последнем оно даже и не замечается героем Ерккой Жуковым, который предал мир русской деревни, его породивший, и встал рядом со своим кумиром Тухачевским, травящим «пробандиченные деревни» боевыми газами. Иными словами, предатель чаще всего не идейный сторонник предательства как философии жизни, а слабый или заблудившийся человек.

Совсем иное по сравнению с предательством явление – провокация. Это неизбежный «отход» революционной работы, ее наиболее зловерный выброс. Провокация – это осознанная позиция, и провокатором становится идеолог провокации, воспринимающий ее как своеобразную жизненную философию и естественную, вполне приемлемую с нравственных позиций форму революционной борьбы. Ее суть состоит в сознательном служении обеим сторонам гражданского раскола – и революционерам, и охранному отделению. Подобная двойственность и двуличность хуже предательства: последнее чаще всего совершается спонтанно, а провокация – всегда обдуманна, коварна, жестока, она приводит к самым страшным последствиям, таким, например, как Кровавое воскресенье, спровоцированное Гапоном.

Горький и Солженицын, летописцы русской революции, не могут пройти мимо такого ее явления, как провокация. Горький многократно упоминает в резко негативном плане Азефа, которого считает «просто скотом, жадным на удовольствия» [3, с. 615], пишет очерк «Поп Гапон» и создает вымышленный образ провокатора Петра Каразина в рассказе «Карамора». Солженицын же показывает, что попытка стать провокатором или стукачом даже с благими целями – выявить, обнаружить подлинных провокаторов и стукачей – оборачивается недоверием и презрением, как случилось с Руськой, героем романа «В круге первом», и рисует объемный портрет провокатора Богрова – убийцы Петра Столыпина.

Взгляды двух писателей на это явление совпадают. Провокатор вызывает отвращение даже у убежденных сторонников «благороднейших революционных действий» [1, с. 67], образы которых создает Солженицын. Тетя Адалия уверена, что «есть один грех, который никогда никаким судом совести не простится никакому революционеру: это сотрудничество с охранкой» [1, с. 97]. Она убеждена в том, что убийство Столыпина совершено «какой-то чужой потемочной душой, двусмысленной фигурой», сопоставимой с Азефом, что «перед судом революционной этики не может быть оправдания никакому пути через охранку» [1, с. 99]. Адалия и Агнесса ведут спор о том, возможно ли сопоставить Богрова и Азефа, который, по мнению их племянницы Вероники, воплощает собой «какое-то страшное, гадкое предательство, хуже которого нет» [1, с. 97]. Интерпретации убийства Столыпина, данные одним из героев романа «Жизнь Клима Самгина», почти полностью совпадают с предложенными в диалоге Адалии и Агнессы: «Известно, что не один только Азеф был представителем эсеров в охране и представителем департамента полиции в партии. Есть слух, что стрелок – раскаявшийся провокатор, а также говорят, что на допросе он заявил: жизнь – не бессмысленна, но смысл ее сводится к поглощению отбивных котлет, и ведь неважно – съем я еще тысячу котлет или перестану поглощать их, потому что завтра меня повесят. Так как Сазоновы и Каляевы ничего подобного не говорили, – я разрешаю себе оценить поступок господина Богрова как небольшую аварию механизма департамента полиции» [4, с. 301]. И в том, и в другом случае оба писателя обнаруживают у своих героев брезгливое отношение к провокаторам. Интересно, кстати, что длинный ряд котлет, которые мог бы съесть Богров за свою жизнь, фигурирует и у Горького, и у Солженицына. Самоирония реального Богрова (известно, что идея мерить жизнь съеденными котлетами принадлежит именно ему) оборачивается жесткой иронией двух авторов, размышляющих об убийце-провокаторе: «Тот “бесчисленный ряд котлет”, над

которым он иронизировал, – теперь начинает манить! Да как же он мог поедать его так скучающе?» [1, с. 287]. У Солженицына образ Богрова предстает в сфере сатирической типизации: в комическом несоответствии оказываются «тысячи котлет» и подлинная ценность человеческой жизни, непонятная «двадцатичетырехлетнему хлыщу», принявшемуся кроить по своему усмотрению историю России.

Однако, сделав провокаторов одним из предметов изображения, Солженицын и Горький расходятся в понимании самой природы провокации – ее личных и политических целей, глубинных психологических механизмов, которые заставляют «раздваиваться» между охранкой и революцией, одновременно играть прямо противоположные роли.

Создавая портрет Богрова, Солженицын обращает внимание на цельность его личности: «Рос и зрел дисциплинированный ум и характер со способностью к систематическим действиям» [1, с. 114]. Умный, ироничный, язвительный, презирующий свое окружение, Россию, ее народ, любящий лишь самого себя, не знавший женской любви, не приемлющий обыденность жизни, он ищет чего-то иного, яркого и возвышенного – и ставит перед собой прямую цель: террористом-одиночкой совершить акт. Довольно скоро определяется и цель. Это министр внутренних дел Столыпин: «...он слишком хорош для этой страны. <...> К тому же есть и хорошая традиция убивать именно министров внутренних дел. Это место – должно обжигать»¹ [1, с. 130]. Избрав своей мишенью Столыпина, Богров понимает, что целит в самое сердце России, с которой его не связывает ничего. Уже в тюрьме, после следствия, приговоренный к смерти, он надеется на побег, который якобы готовит для него жандармский полковник Иванов, и так осмысляет свои иллюзорные перспективы: «Выстрелить, повернуть всю тупую русскую тушу, – а самому, обрызганному духами, снова войти в золотистый зал Монте-Карло?» [1, с. 317].

Не найдя сочувствия и друзей ни среди анархистов, ни среди эсеров (видный член партии эсеров Егор Лазарев, сторонник уничтожительного террора, к которому приходит со своим замыслом Богров, всерьез его не воспринимает), Богров становится идейным провокатором: берет себе в соратники охранное отделение, практически открывая правду о себе, о задуманном террористическом акте: «Находка не просто дерзкая – гениальная: двигаться почти напрямую и говорить почти правду! Какое еще убийство готовилось так: все время настаивая перед полицией, что именно это убийство произойдет!» [1, с. 137]; «Он – взял полицию к себе на помощь, вместо эсеров! Какой юмор – и не с кем поделиться, и оценит ли кто-нибудь, когда-нибудь?» [1, с. 143]. Богров упивается своим замыслом, любит им, как шахматист, выстроивший замечательную комбинацию, которую противнику никогда не разгадать: «Кто б еще оценил, кто оценит когда-нибудь силу и смелость этого построения: навлечь наблюденье и слежку на собственный дом – перед тем, как идешь на акт?» [1, с. 146]. Солженицын показывает, как Богров наслаждается провокацией, видя в ней свою гениальность, которая помогает ему обвести вокруг пальца Кулябку и других полицейских чинов: «Все им открыто! все от начала до конца! сам на себя доносчик перед исполнением! – невиданно!» [1, с. 152]. Уже после следствия, находясь в одиночной камере в ожидании приговора, он вновь и вновь обращается к своим отношениям с охранкой, наслаждаясь удавшимся обманом: «Не я вам – вы мне служили. Но это прочтет и поймет история» [1, с. 286]. Единственное, что его мучит, – это общественное мнение, которое не сможет принять факт сотрудничества с охранкой: «Это единственное пятно, которое вывести нельзя ничем. Которое не может простить общество, и публичный судебный диспут об этом зачумит его перед всеми честными людьми» [1, с. 286]. И даже лучшие адвокаты, которых возможно нанять, не помогут: «...ни Гольденвейзер не властен через это переступить, ни общество. Адвокатские языки будут у него, но без адвокатских сердец. Уже нельзя в его защиту произносить пламенные речи» [1, с. 287].

Богров, построивший на лжи и провокации свое преступление и свою жизнь, под пером Солженицына предстает фигурой цельной и сильной, но не вызывающей ни малейшей авторской симпатии и сочувствия. Он служил не охране, не революции с ее партиями эсеров и анархистов. Его целью было разрушение России во имя интересов своего народа, превратно и искаженно понятых, и во имя этих интересов он мог играть и с охранкой, и с эсерами, не называя своих подлинных целей. Революция и террор был способом разрушения государства. Корни его преступления носят национальный характер и питаются презрением к России, стране, в которой он вырос и сформировался, к русским, чей язык был для него родным: «Я боролся за благо и счастье еврейского народа», – скажет он раввину, и на упрек в том, что выстрел мог бы вызвать погромы, ответил: «Великий народ не должен, как раб, пресмыкаться перед угнетателями» [1, с. 318]. Это его высказывание было широко растиражировано в газетах. «Многие киевские студенты-евреи надели по Богрову траур» [1, с. 319].

Таким образом, Солженицын вскрыл логику провокации, обнаружил ее смысл, цельность и непротиворечивость. И отвернулся от провокатора с глубочайшим презрением.

Совсем иное представление о провокации мы видим у Горького. Как и у Солженицына, провокаторы вызывают у него глубочайшее презрение, но понять логику провокации Горький не в состоянии. Для него

¹Здесь и далее сохранены орфографические и пунктуационные особенности оригинала. – М. Г.

это проявление слабости, необразованности, бесхарактерности запутавшегося маленького человека, вознесенного случаем на вершину исторических событий революционной борьбы и совершенно неготового понять степень своей ответственности. Таков, по убеждению Горького, поп Георгий Гапон, «человек случая, выдвинутый вперед других бурей времени», «у него есть честолюбие, которое толкает его вперед и – затем – губит» [5, с. 402]. После воскресного расстрела рабочих Гапон находит убежище в квартире у Горького: «Переодетый в штатское платье, остриженный, обритый, он произвел на меня трогательное и жалкое впечатление ошипанной курицы. Его остановившиеся, полные ужаса глаза, охрипший голос, дрожащие руки, нервная разбитость, его слезы и возгласы: “Что делать? Что я буду делать теперь? Проклятые убийцы...” – все это плохо рекомендовало его как народного вождя...» [5, с. 395].

Суть сделанного Гапоном очень близка к тому, что спустя шесть лет удастся Богрову: служба охранному отделению, находясь в близких сношениях с Плеве, Гапон создает «Общество петербургских рабочих» для проповедования среди них религиозно-нравственных идей. Поначалу критикуя революционные настроения, не имея собственной внятной политической программы, Гапон все более и более становится «фонографом идей и настроения рабочей массы», и он «собирал в себе, как в фокусе, ее инстинктивное, все возраставшее революционное настроение» [5, с. 393]. В результате «рабочие Петербурга, силой своего революционного настроения, постепенно создали из Гапона, сотрудника Плеве и Зубатова, – Гапона, выразителя революционных стремлений русского рабочего. Человек не сильный, не образованный и впечатлительный, он сам не замечал, как, подчиняясь давлению чувства массы, становился революционером и изменял задачам министерства Плеве, которые взялся защищать» [5, с. 393–394]. Таким образом, преступление Георгия Гапона, спровоцировавшего Кровавое воскресенье, шедшего к Зимнему дворцу впереди одной из колонн рабочих, насчитывавшей около 20 тысяч человек, выглядит результатом двойственности и слабости, а не блистательно выстроенной стратегии, как у Богрова. Для Горького поп Гапон и вся его деятельность – результат разложения государственного аппарата, его бессилия, алогичности и беспомощности: «...священник, призывавший народ к вооруженному восстанию, предавший анафеме армию и благословивший террор, священник, который назвал семейство Романовых убийцами и змеиным отродьем, – спокойно живет в Петербурге, на виду полиции и – его не арестуют. Напротив, как оказывается, его даже принимает граф Витте. Таковы тайны той мусорной кучи, которая зовется “Зимним дворцом” и от которой по всей земле распространяется зараза разврата» [5, с. 401–402].

В очерке «Поп Гапон» Горький объясняет суть провокации как результата беспомощности запутавшегося провокатора: раздутая до величины гиганта фигура довольно скоро превращается в «обыкновенного человека среднего роста». Известие о сотрудничестве Гапона с охранкой потрясает рабочих его организации, соратников и друзей, веривших ему. Горький описывает самоубийство одного из рабочих, ужаснувшихся двуличности своего вождя, прямо на заседании центрального комитета гапоновской организации, обобщая причину того потрясения, которое вызвало в рабочей среде известие об иудинском грехе: «Русский человек плохо живет, но он твердо верует, а когда его вера разбита, он умирает» [5, с. 401]. Жизнь Гапона, как и Богрова, закончилась петлей: только повесили его не по приговору военно-полевого суда, а по решению ЦК партии эсеров. Впрочем, Горький полагал, что казнили Гапона рабочие созданной им организации за попытку продать их правительству. Характерная деталь, отражающая общественное презрение к провокатору: загородная дача под Петербургом, где месяц спустя после казни обнаружили в петле Гапона, была снесена: покупателя на нее не нашлось...

Очерк «Поп Гапон» был создан в 1906 г. Чуть менее чем через двадцать лет в цикле рассказов 1922–1924 гг. Горький вновь обратился к психологии провокатора – на сей раз в рассказе «Карамора». Герой этого рассказа, Петр Каразин, находясь перед следственной комиссией уже после революции, сидя в тюрьме, не может дать себе ответ на вопрос о том, кто же он на самом деле: революционер или сотрудник охранного отделения?

Предметом этого рассказа становится онтологическое исследование подлости. Горький обнаруживает полное отсутствие рациональных причин предательства и провокации. Их нет в предыстории героя, сам он не может объяснить себе природы своей двойной жизни. Рассказ строится как записки Петра Каразина, которые он создает для следственной комиссии: «Дали мне они три дести бумаги: пиши, как все это случилось. А зачем я буду писать? Все равно: они меня убьют» [5, с. 366].

В сущности, усилия автора и героя направлены в одну сторону: оба тщетно пытаются понять причины и психологическую мотивацию деятельности провокатора. Внутренний мир Караморы столь же загадочен для него самого, как и для автора.

Подлость, которая вообще кроется в человеческой натуре, ее причины и истоки – вот что пытается понять Горький. На беспричинность и какую-то воистину бытийную природу подлости указывают и шесть эпиграфов, которые предпосланы рассказу:

«Вы знаете: я способен на подвиг. Ну, и вот также подлость, – порой так и тянет кому-нибудь какую-нибудь пакость сделать, – самому близкому.

Слова рабочего Захара Михайлова, провокатора, сказанные им следственной комиссии в 1917 г. «Былое», 1922, кн. 6-я, статья Н. Осиповского.

Иногда – ни с того ни с сего – приходят мысли плохие и подлые...

Н. И. Пирогов.

Позвольте подлость сделать!

Один из героев Островского.

Подлость требует иногда столь же самоотречения, как и подвиг героизма.

Из письма Л. Андреева.

По обдуманному поступку не узнаешь, каков есть человек, – его выдают поступки необдуманные.

Н. С. Лесков в письме к Пыляеву.

У русского человека мозги набекрень.

И. С. Тургенев» [3, с. 366].

Предательства как охранки, так и революционеров, которые описывает Карамора, совершенно лишены цели – это вовсе не Богров, который, подробно рассчитывая каждый ход, идет к задуманному террористическому акту, добываясь доверия Кулябки мелкими и крупными предательствами людей революционной среды и их замыслов. Раздвоенность Петра Каразина обусловлена, скорее, его странным психологическим состоянием, которое напоминает симптомы психического заболевания, по всей видимости, шизофрении, когда человек ощущает внутри себя вторую или даже третью личность: «И я, сам в себе, как рыба в бредне. Темно. Что я буду писать? Жили во мне два человека, и один к другому не притерся. Вот и все» [3, с. 367]. В следующей своей записи он еще более расширяет этот круг: «...но есть еще и третий. Он следит за этими двумя, за распрей их и – не то раздувает, разжигает вражду, не то – честно хочет понять: откуда вражда? Почему? Это он и заставляет меня писать. Может быть, он и есть подлинный я, кому хочется понять все или хоть что-нибудь. А может быть, третий-то – самый злой враг мой? Это уже похоже на догадку четвертого» [3, с. 372]. Размышления о взаимоотношениях личностей, которые сосуществуют в сознании героя, о спорах, которые они ведут, заслоняют любые представления о нравственности, заменяя нравственное чувство... любопытством: «Разум не подсказывал мне, что хорошо, что дурно. Это как будто вообще не его дело. Он у меня любопытен, как мальчишка, и, видимо, равнодушен к добру и злу, а “постыдно” ли такое равнодушие – этого я не знаю. Именно этого-то я и не знаю» [3, с. 372–373].

Своего рода композиционным центром рассказа становится история разоблачения Караморой провокатора Попова: легко его вычислив, он принуждает Попова к самоубийству: он повесился сам, Каразин лишь держал его за руки. Но самое удивительное состоит в том, что Карамора легко и с готовностью занимает место Попова – сам становится провокатором. Он удивляется легкости и быстроте, с которой принимает предложение начальника охранного отделения Симонова. Причина так и остается неизвестной – она в бездне больного сознания героя, он ее ищет столь же безуспешно, как и Симонов, и автор, и читатель: «Все эти невольные попытки самооправдания мешают мне открыть главное, его я ищу: почему в душе моей не нашлось ни свиста, ни звона, ни крика, ничего, что остановило бы меня на пути к предательству? И почему я сам себя не могу осудить? Почему, называя, сознавая себя преступником, я, по совести, не чувствую преступления?» [3, с. 399]. Единственный ответ: полное отсутствие нравственного чувства, презрение и нелюбовь к себе и любопытство как главный импульс поведения: «Я выдал охране и отправил на каторгу одного из лучших партийных товарищей, человека на редкость хорошего. Я очень уважал его за чистоту души, за бодрость духа, неутомимость в работе, добродушие и веселый характер. Он только что бежал из тюрьмы и третий раз работал нелегально. Выдал я его и ждал, что теперь в душе моей что-то взвывает. Ничего не взвыло» [3, с. 399].

Единственное, что объединяет Богрова и Каразина, – равнодушие к естественной жизни и к жизни собственной – богатой и праздной, с поездками в Ниццу и Монте-Карло у Богрова; естественной для человека рабочей среды, вполне благополучной и зажиточной, текущей «светлым ручьем», – у Каразина. Конечно, герой Горького не иронизирует, подобно Богрову, насчет съеденных котлет, но тоже не очень хорошо представляет, что делать с собственной жизнью: «Пожалуй, они оставят мне жизнь... Интересно: что я буду делать с нею? Вот тоже вопрос: жизнь дана во власть человеку, или человек дан жизни на съедение? И чья это затея – жизнь? В сущности: дурацкая затея» [3, с. 402].

Почему же то, что ясно Солженицыну (причина провокации, ее цели и психологические механизмы), не видно Горькому? Почему вместе со своим героем он мучится без результата над созданием «теории подлости». Карамора рассуждает: «Должна быть теория зла, теория подлости. Должна быть такая теория. Все надо объяснить, все, иначе – как жить?» [3, с. 395]. И почему в данном случае эта теория подлости не выстраивается?

Солженицын в принципе не принимает революцию как форму преобразования жизни. Революционная борьба для него – покушение на естественное, органичное мироустройство, покушение на эволюцию как единственно возможную и благую форму развития. Это рациональная попытка изменения органики бытия, противоестественная и незаконная. Поэтому и провокация ей присуща: она логична, рациональна, преследует четко обозначенные цели и является естественной формой революционной борьбы. Она рациональна, осмысленна, объяснима. И отвратительна.

Горький же не может понять провокации как формы философии революционного дела: революция для него светла и свята, мыслится как наилучшая форма преображения жизни. Провокация не вытекает из революции, напротив, противопоставляется ей: «Дело русской революции – чистое, честное и великое дело, в нем не могут играть никакой роли люди, подобные попу Гапону» [5, с. 401].

Провокация так же отвратительна для Горького, как и для Солженицына. Но он не видит того, что очевидно Солженицыну: провокация есть неизбежный осадок революционного дела. Этим и обусловлен тупик, в котором оказывается Карамора, а деятельность Азефа или попа Гапона трактуются как иррациональные и бессмысленные. Революция делается чистыми руками... С этими иллюзиями Горький расстаться так и не смог.

Библиографические ссылки

1. Солженицын АИ. *Красное Колесо: повествование в отмеренных сроках. Том 2. Узел 1. Август Четырнадцатого*. Москва: Воениздат; 1993. 544 с.
2. Горький М. *Полное собрание сочинений: художественные произведения в 25 томах. Том 23. Жизнь Клима Самгина*. Москва: Наука; 1975. 416 с.
3. Горький М. *Полное собрание сочинений: художественные произведения в 25 томах. Том 17. Заметки из дневника. Воспоминания. Рассказы. 1922–1924*. Москва: Наука; 1973. 632 с.
4. Горький М. *Полное собрание сочинений: художественные произведения в 25 томах. Том 24. Жизнь Клима Самгина*. Москва: Наука; 1975. 588 с.
5. Горький М. *Полное собрание сочинений: художественные произведения в 25 томах. Том 6. Рассказы, очерки, наброски, стихотворения*. Москва: Наука; 1970. 584 с.

References

1. Solzhenitsyn AI. *Krasnoe koleso: povestvovan'e v otmerennykh srokakh. Tom 2. Uzel 1. Avgust Chetyrnadtsatogo* [The Red wheel: narration in measured terms. Volume 2. Node 1. August 14]. Moscow: Voenizdat; 1993. 544 p. Russian.
2. Gor'kii M. *Polnoe sobranie sochinenii: khudozhestvennye proizvedeniya v 25 tomakh. Tom 23. Zhizn' Klima Samgina* [Complete edition. Artistic works in 25 volumes. Volume 23. The Life of Klim Samgin]. Moscow: Nauka; 1975. 416 p. Russian.
3. Gor'kii M. *Polnoe sobranie sochinenii: khudozhestvennye proizvedeniya v 25 tomakh. Tom 17. Zаметki iz dnevnika. Vospominaniya. Rasskazy. 1922–1924* [Complete edition. Artistic works in 25 volumes. Volume 23. The Life of Klim Samgin]. Moscow: Nauka; 1975. 632 p. Russian.
4. Gor'kii M. *Polnoe sobranie sochinenii: khudozhestvennye proizvedeniya v 25 tomakh. Tom 24. Zhizn' Klima Samgina* [Complete edition. Artistic works in 25 volumes. Volume 24. The life of Klim Samgin]. Moscow: Nauka; 1975. 588 p.
5. Gor'kii M. *Polnoe sobranie sochinenii: khudozhestvennye proizvedeniya v 25 tomakh. Tom 6. Rasskazy, ocherki, nabroski, stikhotvoreniya* [Complete edition. Artistic works in 25 volumes. Volume 6. Stories, essays, drafts, poems]. Moscow: Nauka; 1970. 584 p.

Статья поступила в редколлегию 29.11.2018.
Received by editorial board 29.11.2018.